

## ПАМЯТЬ О ЛЕГЕНДАХ

### Ответ

Дунин-Марцинкевич стал первым белорусским писателем в новобелорусской литературе, ее зачинателем. В этом отношении он совершил великое дело. Ведь два предыдущих столетия белорусский литературный язык не развивался, литература создавалась на польском языке, а белорусский язык пользовался уничижительной репутацией «гаворкі вясковага люду», «хлопской мовы», которая для изящной словесности никоим образом непригодна. Того же мнения держался и чиновничий аппарат, проводивший в Белоруссии политику русификации. Белорусскому писателю, если он хотел издаваться и иметь читательскую аудиторию, оставалось писать либо по-польски, либо по-русски. Но вот появляется одаренный человек — не из низов, не из деревни, а «свой», из дворян, который сознательно и целенаправленно пользуется «мужицким» языком. Конечно, во взглядах Дунина-Марцинкевича на белорусскую культуру заметна непоследовательность, в творчестве его действуют две языковые стихии, но он выступил против официальной установки, скинул гнет традиции, ответил на насущную народную потребность в собственной литературе, содействовал пробуждению национального самосознания.

По своим политическим взглядам Дунин-Марцинкевич был шляхетским революционером либерального крыла, и когда стала складываться революционная ситуация, он принял в ней посильное — и как можно судить — немалое участие. Агент III отделения, посланный весной 1861 года в Белоруссию и Литву для выяснения авторов и распространителей противоправительственных прокламаций, докладывал своему начальству, что стихотворное воззвание «Призыв сына Отчизны к братьям-литвинам

написано помещиком Дуниным-Марцинкевичем. «Недавно этот самый Марцинкевич,— продолжал агент,— написал произведение на народном языке под заголовком «Гутарка старого деда», где показывает судьбы Литвы в стихах от 1792 года до нынешнего времени, выказывая все притеснения, какие только могли быть на крестьян, и приписывая все эти притеснения правительству. Эти стихи уже довольно распространены и так убедительно действуют на крестьян, что где только они появились, то крестьяне перестали быть привязанными к государю, которого раньше благославляли, и начали искать заступничества помещиков».

Обвинение в авторстве крамольных стихов и стало одной из причин ареста Дунина-Марцинкевича в октябре 1864 года. Восстание в Белоруссии и Литве было уже подавлено, и царское самодержавие проводило чистку мятежных губерний, сводило счеты со своими политическими противниками. Дунин-Марцинкевич был бы арестован намного раньше, активные розыски его властями велись с февраля 1863 года, но в своем имении Люцинка он не жил, и отыскивали его в местечке Свирь. Отсюда писатель был препровожден под конвоем в губернский Минск и заключен в тюремный замок. В это время все тюрьмы были забиты людьми; для содержания инсургентов (повстанцев) и сочувствующих им использовались разные помещения, в первую очередь недавние католические монастыри. В Минске, например, помимо тюремного замка таким целям служил бернардинский монастырь (здание его сохранилось, расположено неподалеку от площади Свободы; сохранилось и здание тюрьмы). Считается, что в монастыре находилась под следствием и перед высылкой «в отдаленные губернии империи» дочь Дунина-Марцинкевича Камилла. Но никаких точных свидетельств, где и кого держала под стражей жандармская служба, не сохранилось; часть жандармских и полицейских архивов сожгли сами полицейские чины сразу по Февральской революции, часть погибла в годы гитлеровской оккупации, и архивных сведений о заключенных минской тюрьмы 1863—1864 годов осталось немного. Но едва ли Камиллу, которую обвиняли как главную зачинщицу беспорядков в Минске, держали в помещении монастыря. Ближе к истине думать (и есть косвенные указания в сохранившихся бумагах), что она находилась за более надежными решетками минской тюрьмы, откуда в сентябре 1863 года ее отправили по этапу в Соликамск и куда годом позже поместили ее отца.

Винценту Дунину-Марцинкевичу шел пятьдесят восьмой год. Лета достаточно поздние для тягот тюремного быта, бесконечных допросов, сидения в камере, ожидания высылки «во глубину сибирских руд». Думается, что отца и посадили в ту же тюрьму, где незадолго перед тем томилась любимая его дочь, из мелочной жандармской злобности, из присущего этому клану садизма. Условия содержания в тюрьме «политических преступников» были очень тяжелы. И в обычные времена тюремная практика в России отличалась крайним произволом. Например, в среднем из каждой сотни арестованных только 53 получали осуждение, остальные 47 подвергались подследственному заключению без причины, понапрасну, в силу вопиющего беззакония. По многим губерниям процент невинно страдающих в тюрьме людей был еще выше. Так, в Витебской губернии он составлял 74 процента, в Могилевской — 63, то есть из каждых ста, взятых в тюрьму, 74 или 63 человека не имели за собой никакой вины, а меж тем, прежде чем выйти на свободу, подвергались как минимум исправительному наказанию розгами — так сказать для острастки, на всякий случай, превентивно. С началом же восстания 1863 года министерство внутренних дел уплотнило тюрьмы вдвое — там, где по проекту могло находиться триста заключенных, содержали по шестьсот—восемьсот человек. Подавлявший восстание Муравьев признавался со смешком: «Очень часто я

сажаю мятежников без малейшей вины, даже подозрения нет; ну, в таком случае я всегда

думаю: посидит под замком, да подолее, быть может, что-нибудь да отыщется. И что же вы думаете? Я был так счастлив, что всегда что-нибудь за сидельцем-то моим и отыскивал. Ну, тогда и подай его сюда». Поскольку муравьевскими «сидельцами» тюрьмы были забиты до отказа, условия жизни заключенных становились невыносимы. Ведь ни камеры, ни баня, ни кухня не могли обслужить удвоенное, утроенное число людей. Давка, спертый воздух, скверная пища, клопы — все вместе взятое походило на ад. Едва ли арестованным оказывалась помощь близкими или знакомыми, поскольку действовал страх, что такая забота будет истолкована как сочувствие повстанцам со всеми вытекающими из этого последствиями. К тому же Дунина-Марцинкевич по бедности не располагал средствами, чтобы войти в «недозволенные» контакты со стражей и улучшить свой быт. Так что четырнадцать месяцев пребывания в одной из камер минского тюремного замка прошли для Дунина-Марцинкевича в больших тяготах.

Из окна зарешеченной «обители» открывалась поэту улица Немига, застроенная вдоль реки — летом маловодной (почти ручей), в осенние дожди бурливой, а весной, в половодье, даже опасной своими разливами. Утром по Немиге спешил на Нижний рынок народ (примерно на этом месте находится сейчас минский Дом моделей), а на горе над Нижним рынком был центр города — Соборная площадь (ныне площадь Свободы) с губернаторским дворцом, костелами, собором. Тут (приблизительно на том месте, где расположена консерватория) находился тогда двухэтажный дом, служивший городу театром. Мыслями своими устремлялся узник к этому дому, с которым были связаны многие из лучших переживаний: здесь ставились его пьесы, здесь он сам играл в спектаклях, здесь гремели овации, здесь были испытаны минуты радостного вдохновения, славы и счастья. Да и не одна только эта площадь была известна писателю. Весь город он мог обойти с закрытыми глазами и во множество домов мог бы зайти желанным гостем, как заходил прежде, когда жил в Минске до приобретения имения Люцинка под Воложином. Но и после покупки имения Минск оставался родным городом — тут был у него и свой дом и собирались к нему друзья: писатель Александр Ельский, художник Ян Домель, поэт Игнат Легатович, краевед Константин Тышкевич, любитель розыгрышей Юрий Кобылинский и самый дорогой из друзей — Владислав Сырокомля. Здесь сдружился он с композитором Станиславом Монюшко, и Монюшко написал музыку к его пьесе «Идиллия». Первыми слушателями оперы были минчане, те минчане, от которых сейчас он был отделен толстыми стенами тюрьмы и штыками охраны.

Было что вспомнить Дунину-Марцинкевичу, наблюдая город через железную решетку. Было о ком погрустить. В полной безызвестности оставалась судьба Камиллы. Жива ли? Здорова ли? Вернется ли назад? И близких товарищей разнесло по белу свету. Из тех, что пошли в восстание, уже никого не придется увидеть. Старая привычная жизнь, сборы, споры, издание

книг — все ушло дымом. И собственное будущее оставалось неизвестным. О нем и гадать было сложно. Многих выслали, некоторых казнили, причем тех вешали, кого могли выслать, и тех выслали, кого могли казнить. У муравьевской Фемиды глаза были завязаны туго, она не особенно разбиралась — кого как наказать, главное — подвергнуть репрессии. Но Дунину-Марцинкевичу было из-за чего волноваться. Во время подавления восстания в Белоруссии и Литве смертный приговор прозвучал для ста двадцати восьми человек; для устрашения жителей казни проводились в разных местах. Большее число казней припало на Вильню, где находилась штаб-квартира Муравьева. В Гродно казнили троих, в Бресте — двоих, в Кобрине — троих, в Волковыске — одного, в Игумене — четверых, в Новогрудке — троих, в Минске — четверых и так далее. Смертная казнь объявлялась не только за деятельное участие в восстании с оружием в руках. Казнили за «публичное чтение и распространение

возмутительных манифестов и подговор жителей к восстанию». Будь доказана вина Дунина-Марцинкевича как автора «Гуторки», то уж тогда действия его трактовались бы не просто как публичное чтение, но как злоумышленное сочинение текстов, способствующих непокорности властям и оскорбляющих личность здравствующего государя-императора. Временный полевой аудиторат, безусловно, назначил бы высшую меру.

Понятно, что Дунин-Марцинкевич ясно осознавал нависшую над ним опасность и потому отвергал все предъявленные обвинения, ни с одним не соглашаясь и выставляя себя бедной жертвой мнительности судебных органов. Об этом свидетельствует выписка из его следственного дела:

«Опрошенный по обвинению помещик Марцинкевич показал, что он решительно никакого участия в мятеже не принимал и в опровержение возведенных на него обвинений предлагает рассмотреть все его сочинения; в них он старался развивать мысли о соединении славян под скипетром русского императора; в повести для крестьян издания 1855 года «Гапон» убеждал крестьян не уклоняться от военной службы и представлял, что каждый, честно и ревностно выполняющий долг службы, может достигнуть хорошей будущности; затем прославлял правительство за заботы о воспитании всех без изъятия подданных... Действуя таким образом в течение двадцати лет, он не мог изменить свои убеждения в последнее время. Затем брошюры под названием «Гуторка старого деда» он не сочинял и даже ни от кого об ней не слышал; других каких-либо сочинений в противоправительственном духе также не писал; между крестьянами не укрывался и вредных мыслей не распространял... в первых числах 1863 года он взял в аренду Свенцянского уезда имение Дубровляны... но впоследствии имение это было секвестровано (то есть на его владельцев был наложен запрет пользоваться доходами с имения за участие в восстании или помощь повстанцам.— К.Т.), и он с 22 апреля 1864 года переехал на жительство в соседнее местечко Свирь, где и находился безотлучно до своего ареста... Возвращаться же в свое имение Люцинка он опасался, потому что лица, встречавшиеся на дорогах, подвергались аресту».

Создаваемый Дуниным-Марцинкевичем перед следственным столом идеальный образ благонадежного подданного, двадцать лет радевшего о пользе и славе царствующей династии, нисколько не соответствовал действительности. Призывы к крестьянам «не уклоняться», почтительность к государю, тем более прославление, все прочие декларации о своей пристойной деятельности «вшиты» писателем в объяснение белыми нитками. Скажи мне, кто твои друзья, — и я скажу, кто ты. Так мог сказать Дунину-Марцинкевичу следователь, задавая целый ряд изобличительных вопросов. Разве не вашим приятелем, господин Марцинкевич, был витебский литератор Артем Вериго- Даревский, командир витебского отряда мятежников, ныне приговоренный к восьми годам каторжных работ? Или разве не вам принадлежит тетрадь стихов с посвящением «Вяльможнаму Тадэушу Чудоўскаму ў знак глыбокай павагі гэтыя творы прысвячае аўтар». Тому самому Чудовскому, который был ближайшим другом казненного не столь давно Сигизмунда Сераковского, а сам организовал мятежные отряды на Могилевщине? Или не вашим товарищем был поэт Сырокомля, который жаждал революционных перемен в этом крае? И с какими целями вы вместе с Сырокомлей разъезжали в 1861 году? И отчего это вы не дружите хоть бы с одним лояльным по отношению к правительству лицом, а все с личностями сомнительными, откровенными или затаенными противниками существующей системы? И где прикажете найти такую лупу, с помощью которой возможно различить верноподданнические строки в ваших стихотворных и драматических произведениях? Или вы, господин Марцинкевич, считаете

верноподданническими стихами своего «Халимона на коронации», от которого за версту веет насмешкой над его императорским величеством? Герой-то ваш, побывавший, по вашему умыслу, в Москве на венчании на царство сиятельнейшего монарха нашего, бесстрашно куражится над увиденным:

У касцёл нас не дапусцілі; Боялся, відна, штоб не задавілі; Мы там на паперці сашлі у старону, Не бачылі, як цар надзяваў карону... Пасля для народа сталы там стаўлялі; Мы для той прычыны і Ёюноу не бралі. Гарэлю здаволі,— пій, хоць апражыся! Еш колькіЎгодна, — хоць расперажыся.

Это ведь черт знает что; коронация государя описана, словно мужицкая свадьба — без должного пиитета, да попросту дурашливо, с неприличным прямо-таки шутовством; вместо внушения благоговейного преклонения, вы, господин Марцинкевич, сознательно стремились пробудить скепсис и смех в народе. Ну, и наконец, почему эта зловредная, написанная латиницей «Гуторка старого деда» так удивительно близка вашей поэтической манере и вашему поэтическому словарю, будто создана той самой рукой, которая записала о страстном желании вашем соединить всех славян под скипетром русского императора?

Возможно вполне, что все такие и подобные вопросы и задавались и приходилось держаться в личине простодушного, несчастного, ничего не ведающего простака, балансировать на острие правдоподобной выдумки, чтобы

не утратить честь, чтобы насколько возможно защитить себя и не дать в руки следствия желанных ему подозрений и зацепок к другим людям. Легко допустить, что Дунин-Марцинкевич надеялся отсидеть в Свири самое горячее время террора, но одно то, что он не возвращался домой, с определенностью говорит о его здравом понимании обстановки и мере своих действий против режима. В марте 1864 года на Лукишках в Вильне был казнен «красный диктатор» Кастусь Калиновский. Повешение проводилось публично, и рассказы о героической смерти главного повстанца, безусловно, дошли и до Свири. Что же мог думать о выдающемся белорусском революционере выдающийся белорусский писатель? Дунин-Марцинкевич был вдвое старше Калиновского; они принадлежали к разным поколениям, различно видели пути и цели социального переустройства тогдашнего общества. Калиновский — революционный демократ, для него шляхта, панство, помещичье землевладение — то, чего не должно быть, что должно исчезнуть, то, что крестьяне, взяв косы и топоры, обязаны уничтожить. Он писал;

«Мы... ўсе ўжо ведаем, што чалавек вольны — гэта калі мае кусок сваёй зямлі, за каторую ані чыншу і аброку не плаціць, ані паншчыны не служыць, калі плаціць малыя падаткі, і то не на царская стайні, псярні і курвы, а на патрэбу цэлага народа, калі не ідзе ў рэкруты чорт ведае дзе, а ідзе бараніці свайго краю тады толькі, калі які непрыяцель надыдзе, калі робіць усенька, што спадабае і што не крыудзіць бліжняга і хвалы боскай, і калі вызнае ту веру, якую вызнавалі яго бацькі, дзяды і прадзеда. От што вольнасць значыць. Сягоння то рад маскоўскі нас не атуманіць, бо мы цяпер не такая дурныя, як былі ўперад, і пазналі, што нам не маніфестаў царских, а вольнасці патрэба... І то вольнасці не такой, якую нам цар схоча даці, но якую мы сам, мужыкі, паміж сабой зробім».

Как крестьянский идеолог он выражался с еще большей определенностью: «Первым делом нам необходимо уничтожить эту гнилую и развращенную касту, которую называют дворянством». Калиновский видел цель своей деятельности в крестьянской революции. Свое отношение к дворянству он ясно выразил одному из руководителей партии «белых» в восстании Я. Гейштору. «При первом нашем знакомстве, — вспоминал Гейштор, — Калиновский доказывал мне, что участие шляхты и помещиков в восстании является не только ненужным, но и вредным. Народ сам завоюет себе независимость и потребует собственность помещиков. Как милость, он разрешал шляхте вступать в повстанческие шеренги, но не в своих поветах, а там, где их не знали... Если бы она (шляхта) и погибла, то нашла бы ее только заслуженная кара, и родина нисколько бы от этого не потеряла».

С такую резкостью думать о своем классе Дунин-Марцинкевич не мог. Он был воспитан все-таки в традиции уважения к шляхетскому прошлому Великого княжества Литовского и Речи Посполитой; многое в отношении шляхты к крестьянству было для него неприемлемо, но уничтожения шляхты как института он не желал. Скорее, он был настроен на классовый мир; по его понятиям крестьяне должны просветиться, ланы должны подобреть, но и те и

другие должны остаться, жить в покое, в согласии, в равновесии взаимно добрых чувств. Все творчество Дунина-Марцинкевича до восстания служило выражению таких идей. Но едва ли неудача восстания открыла ему глаза. Среди главных причин поражения восстания было и резкое разделение шляхты и народа; более того, извечная ненависть крестьянства к помещикам была ловко использована царизмом.

В крестьянскую среду всеми возможными способами вносились слухи, что повстанцы хотят вернуть старые крепостные порядки, отмененные добрым батюшкой- царем, что только поэтому паны схватились за оружие. Неудивительно, что крестьяне помогали войскам против инсургентов, доносили об их передвижениях властям, выдавали их тайники, а самих их, коли попадались в руки, били смертным боем. Статистика отмечает малое участие крестьян в восстании. Даже в Гродненской губернии они составляли в отрядах одну треть бойцов. Однако и трудно им было принять участие. Во всех мало-малье к и крупных населенных пунктах стали иа постой войска, была насильственно организована так называемая самооборона, против повстанцев твердили разную чушь чиновники и православные священники. Но и католическая верхушка под нажимом Муравьева обратилась с увещанием к пастве, призывая раскаяться и стать на колени:

«Без воли всемогущего бога ничего на свете не делается. Он возвышает, он и низводит; он дает жизнь, он отворяет и врата смерти; он один управляет светом и его единого воле никто не в состоянии противиться. Должно быть, эта воля господня не понята нами, должно быть, число грехов наших превысило всякую меру, если господь допустил, что столько бедствий, столько горя ниспало на край наш, взволнованный людьми беспорядка.

Главное начальство края приняло все меры к укрощению мятежа и к водворению спокойствия; оно карает виновных в мятеже для обуздания восстающих против законной власти, но вместе с тем отверзает дверь к милосердию. Безусловно предавайтесь на волю и помилование высшего в нашем крае начальства, которому государь император поручил объявить прощение тем, которые, сложивши оружие, явятся к местным властям с чистосердечным раскаянием и будут просить пощады.

А потому поспешайте воспользоваться предлагаемой вам милостью; этого требует не только ваше и родных ваших благо, но вместе с тем это есть и прямая обязанность, которую возлагает на вас наша святая религия... Исполняйте затем святые приказания,

возвращайтесь немедленно к спокойным трудам вседневных ваших занятий, горячо молитесь за нашего августейшего императора всероссийского Александра II, которому господь бог вверил нашу судьбу; молитесь за весь царствующий дом и за всех, которые занимают высшие должности, дабы мы, по словам апостола Павла, вели жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте...»

Справедливость требует сказать, что не все духовенство так думало и

говорило. За противоположные призывы семь священников были казнены, а сто пятьдесят девять высланы в глубь империи. Но каково в такой атмосфере было принимать жизненно важные решения темному, искренне верующему, жаждущему клочка своей земли и воли крестьянину; как мог он довериться своим вчерашним притеснителям, которые сейчас выступили вроде бы в его защиту. Тем более не мог и не хотел, что правительство передавало крестьянам земли помещиков-повстанцев. Выходило, что проще получить наделы, не бунтуя против царя, а наоборот — передавая в руки уездного начальника вооружившегося пана. Даже донос на повстанца оплачивался казной. Узкая программа восстания не заинтересовала крестьян, а при их равнодушии повстанцы и каратели оказались в удручающем и безнадежном неравенстве сил и вооружения.

На 11 января 1863 года, то есть к началу восстания, на территории Белоруссии и Литвы находилось достаточно большое число царских войск: 1-я кавалерийская дивизия: 1-я конно-артиллерийская бригада, 1-я, 2-я и 3-я пехотные дивизии; 1-я, 2-я и 3-я полевые артиллерийские бригады, а также 33-й и 42-й Донские казачьи полки. С началом военных действий против повстанцев в Виленский военный округ дополнительно прибыли: лейб-гвардии сводно-казачий полк; 1-я и 2-я гвардейские пехотные дивизии; 3-я гренадерская дивизия; лейб-гвардии драгунский полк; девять полков донских казаков и отдельные батальоны из резерва: Эстляндский, Либавский, Нарвский, Великолуцкий, Олонецкий, Вологодский, Костромской, Симбирский, Муромский, Низовский, Галицкий, Черниговский, Могилевский, Брянский, Кременчугский, Смоленский, Полтавский, Алексопольский, Полоцкий, Елецкий, Витебский, Орловский и др.

Понятно, что противостоять такой армии могло только всенародное ополчение, но поскольку восстание не приняло всенародного характера, оно оказалось обречено на неудачу прежде, чем началось. Можно только дивиться, что боевые столкновения длились по октябрь 1863 года.

Перед лицом этой силы, перед осознанием напрасных жертв со стороны лучшей части народа, тысяч и тысяч репрессированных, сотен казненных, перед фактами осуществляемого Муравьевым наступления на культуру белорусских губерний невольно возникало сожаление о происшедшем восстании. На несколько десятилетий культурная жизнь Белоруссии заглохла, белорусский язык подвергся запрещению, страх репрессий породил широкое малодушие в обывательской массе без различия ее сословного происхождения. Еще в июле 1863 года лица благородного сословия стали подписывать верноподданнические адреса следующего содержания: «Всеавгустейший монарх! Смуты революции вовлекли многих из дворян Виленской (или: Могилевской, Минской, Гродненской, Витебской) губернии к нарушению верноподданнической присяги вашему императорскому величеству. Отвергая действия революционной партии, по причине которой от нескольких месяцев земля наша обагрится кровью по большей части напрасных жертв, чистосердечно и гласно просим тебя, государь, считать нас верноподданными твоими, заявляя при сем, что мы,



составляя одно целое и нераздельное с Россиею, остаемся навсегда верноподданными твоими, вверяя судьбу дворянства, августейший монарх, твоему неограниченному милосердию». Подписи под такими адресами собирались все лето и осень, притом собирались, разумеется, добровольно-

принудительно: не хочешь подписывать — дело хозяйское, но значит не верноподданный, а сочувствующий мятежу, а коли сочувствующий, то по статье такой-то, параграфу такому-то государя нашего такого-то прикладывается к тебе, голубчику, мера наказания. И лица благородного происхождения с охотой или без, но подписывали. В Виленской губернии в июле поставили подписи 235 дворян, а к октябрю их стало 3900. Также обстояло дело и в прочих губерниях. Что можно было думать об этой — большей — части шляхты, находясь в тюрьме? Что вообще, за исключением малого образованного круга, представляла собой белорусская шляхта, живущая при народе, на своих фольварках, та, которая по прежним представлениям Дунина-Марцинкевича, была обязана подавать народу пример благопристойной, нравственной жизни? Ничего достойного уважения. То же невежество, что и у мужика, только помноженное на сословную спесь и шляхетский пых.

Не лучшее впечатление производила и та часть дворянства, которая служила в аппарате. У Дунина-Марцинкевича, верно, накопились за жизнь, и в тюрьме особенно, горькие чувства от крючкотворства и подлости служителей закона — так называемых юристов, независимо от того, в какие — жандармские или цивильные — костюмы они были одеты. Не случайно в «Пинской шляхте» Дунин-Марцинкевич писал:

Гдзе ўнадзіцца юрыста, Вымеце хату дачыста. Такіх дзіваў нагаворыць, Так многа кручкоў натворыць, Што, пачасаўшы затыкал,

Не рассупоніш памылак. Не дасі,— цябе замучыць. Добра стара казка вучыць: Дзярэ каза ў лесе лазу, Воўк дзярэ ў лесе казу, А ваўка — мужык Іван, А Івана — ясны пан. Пана ўжо дзярэ юрыста, А юрыста — д'яблау трыста!

«Трыста д'яблаў» драли и тех конкретных юристов, которые вели следствие по делу самого Дунина-Марцинкевича и подписывали соответствующие документы. Вот для примера одна из юридических бумаг:

### *Рапорт*

*По следственному делу, произведенному о помещике имения Люцинки Минского уезда, коллежском регистраторе Викентии Марцинкевиче, 66 лет, вероисповедания римско-католического, оказалось, что он подвергся обвинению в распространении вредных для правительства идей между простолюдинами, в подозрительных разъездах по разным губерниям, в пересылке из Вильно в 1861 году своему семейству чрез проживающего вблизи его имения Люцинки еврея Шевеля Лейнора пакета с подозрительными вещами и сообщений сведений о происходящих в крае беспорядках, в издании пред началом мятежа возмутительного сочинения на простонародном языке под заглавием «Гуторка старого деда» и в допущении в имени своем сборища*

разных

*лиц. Хотя помещик Марцинкевич в обвинениях сих не сознался и произведенным исследованием не обнаружено юридических доказательств к изобличению, но принимая во внимание, что в имени Марцинкевича Люцинке при обыске найдены одна печатная и две литографированные молитвы за Ойчизну, изданные без цензуры, что из семейства Марцинкевича жена его Мария и дочери Камилия и Цезарина принимали деятельное участие в бывших демонстрациях и пених запрещенного гимна, а последняя, кроме того, носила конфедератку, и из них по обвинениям сим: Мария Марцинкевич состоит под следствием, и дела о ней представлены предместнику вашего превосходительства Виленскою следственной комиссиею 18 декабря прошлого года за No 2433 и 12 апреля сего года за No 580...*

*Хотя помещик Викентий Марцинкевич по обвинениям сим подлежал бы выселению из здешнего края, но, снисходя к преклонным его летам, я полагал бы: его, Марцинкевича, оставить на месте жительства, с отдачею на поручительство и с учреждением за ним полицейского надзора, а с принадлежащего ему имени взыскать усиленный 10-процентный сбор...»*

Вот так: «юридических доказательств к изобличению» не обнаружено, но усиленный сбор сыскать. Скоро последовало и решение Временного полевого аудиториата:

*«...помещика Марцинкевича, на основании... правил о порядке наложения взысканий на мятежников и их соучастников... подвергнуть денежному штрафу, взыскав с имени его, как за него самого, так и за жену его, участвовавшую в демонстрациях... усиленный 30-процентный сбор».*

Усиленный 10-процентный сбор усилился в три раза. Действительно, «гдзе унадзіцца юрыста — вымеце хату дачыста». Заключение тянулось год, и за это время были приняты десятки таких решений, относящихся к товарищам по несчастью. Как это было осмыслить писателю, комедиографу? Многократно повторяемая сцена приобрела типические черты. Не приходится сомневаться, что «Пинскую шляхту» Дунин-Марцинкевич написал в тюрьме. Прежде чем пьеса легла на бумагу уже за письменным столом в имении Люцинка, она вся составила в уме на нарах тюремной камеры. Может быть, Дунин-Марцинкевич и читал ее там вслух, веселил товарищей. При его склонности к шутке, любви к общению, актерском таланте это просто неизбежно. Вообще, он был не из тех, кто может подолгу грустить, он был человек бойкий, смелый, решительный.

Писатель вышел из тюремного замка 5 декабря 1865 года и поехал в Люцинку под строгий гласный надзор полиции. Вот бы, кажется, человеку обрадоваться обретенной свободе и замолкнуть, не дразнить власть предержащих, писать что-либо легонькое, безобидное, веселое, вроде давней своей «Идиллии», или о совестливых чиновниках, которые при исполнении тяжелых служебных обязанностей стараются тем не менее входить «в положение», «облегчить участь» — ведь вот же не выслали вслед за Камиллой,

а вполне могли выслать, ведь пожалели «преклонные лета», проявили «человечность» и «понимание».

Однако по приезде в Люцинку Дунин-Марцинкевич пишет не беззубый водевиль, а записывает выношенную в тюрьме злую сатиру на самодержавный чиновничий аппарат и таким образом на всю существующую систему,— свою знаменитую «Пинскую шляхту».

Сюжет ее прост: в одной из пинских околиц подрались два шляхтича, подрались по той нелепой причине, что один назвал другого мужиком, чем смертельно оскорбил его достоинство. Обиженный подал в суд, и для разбирательства приезжает становой пристав Крючков и при нем писарь Писулькин. Дети враждующих сторон — Марыся и Гришка — любят друг друга, но взаимная ненависть отцов грозит расстроить их счастье. Но и любовь и вражда даны автором в пометках, главное действующее лицо пьесы —

Крючков, «наяснейшая корона», как его называют все персонажи. Сюжет пьесы строится исключительно на нем — на его способе разбирательства, на его решениях и приговорах. Все, что накопилось у автора в душе за четырнадцать месяцев заключения, все, что он знал по опыту своей работы в минской криминальной палате,— все в пьесе получило пародийное, гротескное отражение. Вот один из образцов решений Крюčkова, весьма напоминающий решение по делу самого Дунина-Марцинкевича.

"По указу его императорского величества, во временном присутствии, в комплекте, составленном из участкового заседателя и его письмоводителя, слушали дело, коего обстоятельства следующие: Иван Тюхай-Липский назвал Тихона Пратосавицкого мужиком; тот за такую обиду побил Липского, на что сей последний представил и свидетелей. Расследовав таковое дело, временное присутствие, сообразно указу все милостивейшего государя Петра Великого в 1688 году марта 69-го дня последовавшего и применяясь к Статуту Литовскому раздела 5-го параграфа 18-го,— определило: а) Тихону Пратосавицкому, как уголовному преступнику, назначается: 1) 25 лоз на голой земле без подстилки и 2) штраф 25 рублей в пользу временного присутствия; б) Ивану Тюхаю-Липскому, как нанесшему личное оскорбление Пратосавицкому, назначается: 1) 15 лоз на подстилке и 2) 15 рублей штрафа в пользу временного присутствия; в) свидетелям, которые видели драку и не разняли дерущихся: 1) по 10 лоз на подстилке и 2) по 10 рублей штрафа в пользу временного присутствия; г) всей прочей шляхте, которая не видела драки, за то, что не видела, а тем самым не могла и разнять дерущихся, назначается 1) по 5 лоз на подстилке и 2) по 5 рублей штрафа в пользу того же присутствия. Наконец: д) применяясь к указу ее величества Анны Ивановны 1764 года октября 45-го числа за негербовую бумагу, употребленную и имеющуюся употребиться по сему делу,— Пратосавицкий 5, Липский 3, свидетели по 2, а все прочие по 1 рублю уплотят...»

Это и сейчас звучит очень весело. Каково же было удовольствие для простого зрителя 70-х годов прошлого века, с которым «наяснейшие короны

точно так и поступали в действительности! Ясное дело, что пьеса не могла быть разрешена к постановке и публикации. Даже через двадцать лет после написания, в 1889 году, когда издатель Календаря Северо-Западного края М. Довнар-Запольский обратился в цензуру за разрешением опубликовать «Пинскую шляхту» в календаре, виленский генерал-губернатор, рассматривавший рукописи, счел должным ответить категорическим отказом: «По моему мнению, подобное произведение, в коем в неприглядном свете выставляется личность должностного лица, станового пристава, который к этому везде называется «наяснейшая корона», вряд ли удобно помещать в каком-либо издании, а в особенности в таком, как календарь, который предназначен для распространения в среде населения».

Выставить напоказ цинизм, лихоимство, низость чиновничьего аппарата — таков был ответ Дунина-Марцинкевича самодержавию. В пьесе нет «критики отдельных недостатков». Комедия вскрывает суть порока, и неважно, что персонажи — шляхта глухого повета, а мелкий судебный чиновник — один из десятков тысяч кровопийц народа. Сравнить Крючкова с иными чиновниками, а страх перед ним околичной шляхты с собственным страхом перед приставом, исправником и прочим начальством своего уезда — это дело «почтенной публики». Тут интересен и еще один — неявный, но присутствующий смысл. Не верьте чиновникам — как бы говорит Дунин-Марцинкевич, они и сильны только вашей доверчивостью, вашей боязнью их весомо звучащей, но пустой болтовни. Нет за ними правды — они мелкие рвачи, грязь общества; не закон и правда движут ими, а «трыста д'яблаў» порока.

Из послевоенного периода творчества Дунина-Марцинкевича известны две пьесы — «Пинская шляхта» и «Залёты», но писал Марцинкевич много и все писал, что называется, для себя. Белорусский писатель Ядвигин Ш. (Антон Левицкий), который в детские годы жил в доме Марцинкевича, вспоминал затем в «Письмах с дороги»: «Памятаю і вялікі куфар, куды хаваў ён сваё пісанне, паўнюсенькі быў, але мала выйшла гэтага пісання адтуль у свет: па смерці Марцінкевіча стары дом згарэў, пайшла з дымам і большая палова працы гэтага заслужанага для нашай бацькаўшчыны чалавека».

Все тленно в этом мире, все, кроме народной памяти, которая одна хранит дела своих лучших сынов и дочерей.

Памятное историческое прошлое создается усилиями тысяч людей, каждый из них вносит в сокровищницу народного достояния свой вклад — кто меньший, кто больший, соответственно дарованию и силе духа. Именно эти люди являют пример деятельной любви к родине, служения ее культуре, дают образцы для следования и подражания.

Помнить о них — святой долг каждого поколения.